



DOI 10.22363/2312-8011-2017-14-4-728-742

УДК 82.01/09

## КАВКАЗСКИЙ МОТИВ В «ЗАПИСКАХ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОЛЕМИКИ С М.Ю. ЛЕРМОНТОВЫМ

Ми Сюйян

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук  
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4

Статья посвящена кавказскому мотиву в «Записках из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского. В ходе анализа отмечены его интертекстуальные связи с романом Лермонтова «Герой нашего времени» и выяснены многоплановые задачи скрытой полемики с ним: преодоление руссоистской антитезы «природа — цивилизация» и культ романтической страстной любви. В статье также рассмотрена дальнейшая переключка данного мотива с публицистикой Достоевского 1860-х гг., показано его эмблематическое значение для писателя. Этот мотив стал в ней своеобразным знаком первого шага к сближению аристократии с народом и, следовательно, к осуществлению почвеннической идеи Достоевского.

**Ключевые слова:** Достоевский, Кавказ, Лермонтов, романтизм, Руссо, почвенничество

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Творчество М.Ю. Лермонтова имеет для Ф.М. Достоевского грандиозное значение. Имя поэта встречается у писателя на протяжении всей творческой жизни. Высказывались мнения, что для Достоевского значение Лермонтова даже больше, чем значение Гоголя [1. С. 79; 2. С. 639]. Однако отношение к личности и творчеству Лермонтова у Достоевского, наверное, еще более сложное и неоднозначное. В.Б. Шкловский отметил, что для Достоевского существует «по меньшей мере два Лермонтова», первый — истинный и гениальный, а второй — капризный и смешной [3. Т. 2. С. 25].

С одной стороны, творчество Достоевского изобилует художественными элементами, наследованными у Лермонтова. Цитаты из стихотворений поэта можно найти почти во всех произведениях писателя [1], и воспоминания современников также свидетельствуют о его искреннем восхищении гением Лермонтова-поэта [5. Т. 2. С. 182—185; 6. С. 470—471]. Косвенное влияние поэта на Достоевского также отмечалось неоднократно. Как сообщает В.Я. Кирпотин, в письме Достоевского к брату Михаилу Михайловичу от 19 июля 1840 г., написанном вскоре после выхода из печати «Героя нашего времени», уже содержится отголосок только что прочитанного им романа: «могучая сила лермонтовского отрицания накладывает глубокую печать на формирующееся мирозерцание Достоевского» [7. С. 98—99]. В подпольном парадоксалисте, Раскольникове, Ставрогине, Версилове, Иване Карамазове и прочих героях Достоевского исследователи видят

наследников лермонтовских Печорина, Арбенина и Демона. У обоих писателей встречаются общие темы, мотивы, творческие тенденции и приемы [8. С. 4; 9. С. 143—144; 10. С. 386—391; 11. С. 152—156; 12. С. 64—65]. Совмещение непримиримых психологических антитез, свойственное творчеству Лермонтова, стало «прототипом вечной борьбы в сердце и творчестве Достоевского» [1. С. 80]. Г.М. Фридендер полагает, что путь Лермонтова от «Княгини Лиговской» к «Герою нашего времени» был, в сущности, путем от бахтинского «монологического» романа к «полифоническому» роману, творцом которого, как известно, М.М. Бахтин считал Достоевского [13. С. 45]. И.С. Чистова отметила, что сочетание бытовой сценки «физиологического» характера и фантастического, «невероятного» сюжета в лермонтовском «Штоссе» повлияло на ход развития творчества Достоевского и стало своего рода основанием его «Двойника» и «Хозяйки» [14. С. 116—122].

С другой стороны, творчество и личность Лермонтова получили у Достоевского полемические переосмысления и пародийные снижения. Лермонтовский тип «мечтателя» трансформируется в антигероев «подполья» Достоевского, гордый «Демон» и его высокий байронический эгоцентризм превращаются в мелких «бесов» и их пошлый индивидуализм [12. С. 64—67; 11. С. 146, 152; 9. С. 143—144]. И, как убедительно показала И.А. Беляева, скрытую полемику с Лермонтовым писатель вел уже в прозе 1840-х гг. [16]. Кроме того, в публицистике 1860-х и в «Дневнике писателя» Достоевский неоднократно подвергал анализу творчество и личность поэта и его роль в истории русской литературы. Писатель не раз отождествлял судьбу поэта и его героев, и его интерпретация иногда приобретает памфлетные черты [12. С. 69; 9. С. 144; 2. С. 639]. В.А. Туниманов объяснил такую творческую тенденцию писателя «нежеланием ... признать личную для себя значимость лермонтовских романтически-индивидуалистических идей, остро изживаемых Достоевским в процессе собственного духовного самоопределения» [9. С. 144]. С.В. Белов подчеркнул, что понять высказывания Достоевского против Лермонтова можно лишь в связи с его общей теорией «почвенничества» [15. С. 131].

Однако, как мы видим, в большинстве названных выше исследований рассматриваются в основном психологические и эстетические аспекты, а общественно-политические и идеологические остаются почти нетронутыми. Кроме того, внимание исследователей было сосредоточено в основном на поздних романах писателя и «Записках из подполья», а влияние поэта на «Записки из Мертвого дома» было почти упущено из вида. В данной статье мы пытаемся пойти как раз по этому направлению, а именно: выявить не только зависимость кавказского мотива в «Записках из Мертвого дома» Достоевского от «Героя нашего времени» Лермонтова, но и скрытую полемичность в тексте первого по отношению к последнему, показать сходство и отличия в трактовке Достоевским и Лермонтовым соотношения между «цивилизацией» и «дикостью».

## 2. ОБСУЖДЕНИЕ

### Кавказский мотив в «Записках из Мертвого дома»

Переключка с лермонтовским романом проявляется почти сразу после поступления Горяничкова в Мертвый дом, при встрече его с Акимом Акимычем.

В.Б. Шкловский отметил ряд структурных, жанровых и стилистических признаков, сближающих «Записки...» Достоевского с «Героем нашего времени», и среди них было указано сходство Акима Акимыча с Максимом Максимычем из романа Лермонтова [17. С. 99—100]. Исследователь с полным основанием назвал первого «отдаленным родственником» второго. Сходство между ними обнаруживается не только в их «именовании» (по имени и по-панибратски усеченному отчеству), но и в их характерах: оба они простодушные, смиренные, но оба отмечены «аккуратной скукой» и относятся к типу «идеального службиста, любящего службу» [17. С. 104—105].

Вопреки В.Б. Шкловскому, Б.С. Виноградов и В.А. Туниманов настаивали на категорическом различии между двумя образами. Во-первых, в отличие от «недоброжелательного и саркастического» тонов, в которых Горянчиков изображает Акима Акимыча, «Максим Максимыч у Лермонтова дан с симпатией». Во-вторых, между ними лежит «огромная человеческая дистанция», поскольку в Акиме Акимыче исследователи видели «гротескную фигуру», «образец крайнего отупения, омертвления всех человеческих “даров”, последней ступени равнодушия» и «“порядочного” человека в смысле фанатично-безукоризненного служения николаевскому порядку» [18. С. 137—139]. Однако эти сильно преувеличенные характеристики, отмеченные идеологическими предрассудками эпохи, в целом не перекрывают общность двух героев, тем более что, как указал Шкловский, такие «службистские» признаки присущи также и Максиму Максимычу [3]. Попытка противопоставить пренебрежение со стороны Горянчикова симпатии и сочувствию повествователя в «Герое нашего времени» также оказывается напрасной, так как в качестве «внутреннего» рассказчика Горянчикова следует соотносить не с лермонтовским повествователем, а с Печориным [4]. Что касается отношения Печорина к Максиму Максимычу, то мы знаем, что первый относится к последнему также довольно холодно и даже пренебрежительно.

У Достоевского при изображении героев в этом художественном произведении стоит отметить еще и нарочитые отклонения от действительности. Подобные тенденции обычно рассматривают как проявления автоцензуры [5], однако многие из подобных случаев предоставляют нам возможность еще и наблюдать творческую лабораторию писателя, т.е. увидеть то, как он превращает документальные факты в художественный текст. В случаях, связанных с кавказским мотивом «Записок...», можно не раз заметить, что это происходит не без участия реминисценций из лермонтовского романа. Об этом свидетельствует уже само имя Акима Акимыча, действительного прототипа которого зовут совсем по-другому: Ефим Белых [21. Т. 1. С. 88—89].

Не менее показательны противоречивые версии его преступления. П.К. Мартьянов в своих воспоминаниях предлагает нам такую: «На станицу эту [станицу, которой заведовал Е. Белых — М.С.] никто не нападал и ее не зажигал, но из-под стен ее горцы угнали выпущенный казаками на пастьбу скот. Произведя под рукой дознание и узнав, что это сделали мирные горцы, жившие по соседству, он зазвал семь человек из числа наиболее влиятельных среди этих горцев лиц к себе в гости и не расстрелял, а повесил их на гласисе укрепления» [5. Т. 1. С. 338]. Однако архивные сведения показывают, что Достоевский в самом деле излагает эту

историю ближе к действительности, чем Мартьянов [21. Т. 1. С. 88]. Любопытно, откуда узнал Мартьянов эту неверную версию? Сам он отметил, что она изложена им «по его [Ефима Белых — *М.С.*] рассказу “морячкам” [разжалованным петербургским гардемаринам, прибывшим на службу в Омск — *М.С.*], но трудно представить, чтобы этот благонамеренный, простодушный человек мог так колоритно солгать и чуть ли не сочинить целую новеллу о своем преступлении. Учитывая, что достоверность воспоминаний Мартьянова вообще подвергается сомнению (ведь своего героя он даже назвал несколько иначе, а именно: Беловым) [20. С. 342—344], вполне возможно, что насчет подлинного источника рассказа он также ошибся. Тогда вполне можно выдвинуть предположение, что эту мнимую историю о жизни Е. Белых среди «морячков», с которыми писатель достаточно часто общался в остроге, распространял сам Достоевский. Может быть, он рассказал ее просто как анекдот или шутку из жизни человека, к которому он относился с пренебрежением, а кто-то из «морячков», а там и сам Мартьянов воспринял ее всерьез. Стоит отметить, что в этом мнимом жизнеописании Акима Акимыча также присутствует реминисценция из лермонтовского романа: все события произошли после того, как «мирные горцы» «угнали выпущенный казаками на пастьбу скот», а ведь угон скота — один из ключевых моментов взаимодействия русских и горцев в романе Лермонтова. Вспомним, что сын мирного князя Азамат под подстрекательством Печорина украл «лучшего козла из отцовского стада», что Казбич регулярно приводил в крепость сомнительных баранов и «продавал дешево»; и даже поворотный пункт сюжета — угон Азаматом коня Казбича — произошел тогда, когда последний «однажды пригнал десяток баранов на продажу» [22. С. 190, 191, 196].

Если мы сравним описание кавказских героев в «Записках из Мертвого дома» и в «Герое нашего времени», то обнаружим, что сходство в изображении кавказцев между двумя произведениями отнюдь не является случайным совпадением.

Не без причины был подчеркнут тот факт, что скот был угнан именно «мирными» горцами, так как едва ли не самой важной характеристикой горцев в обоих произведениях является их отношение к России, т.е. вопрос о том, «мирные» они или нет. И.П. Смирнов наделил данную категорию особым значением: быть «мирным» значит принадлежать «к “своим” и к “чужим” одновременно». Кавказский князь в книге Достоевского перестал быть «мирным», потому что сходство с «чужим» стало для него невыносимым. Его поведение разрушило аналогию и спровоцировало Акима Акимыча на преступление против самого себя, а аннулирование аналогии, по мнению исследователя, является общей криминальной логикой почти всех преступлений в «Записках...» [23. С. 83].

В самом деле, преданность любых горцев в глазах обоих рассказчиков оказывается весьма сомнительной. В «Герое...» сын мирного князя Азамат недоволен тем, что его отец «боится русских», а Казбич, который «был не то чтобы мирной, не то чтобы не мирной», после угона коня зарезал того мирного князя и «пристал к какой-нибудь шайке абреков» [22. С. 193, 191, 197]. В «Записках...» «соседний мирной князь» был причастен к зажиганию крепости Акима Акимыча, а лезгин Нурра «был мирной, но постоянно уезжал потихоньку к немирным горцам и от туда вместе с ними делал набеги на русских» [20. С. 55, 28]. Здесь мы снова видим отклонение художественного текста от действительности, потому что вероятный

прототип Нурры — Нурра Шахсурла-оглы был осужден на самом деле не за участие в набегах на русских и переход от мирных к не мирным, а просто за воровство и грабеж [20. С. 348]. Таким образом, миф о неверном мирном горце оказывается художественной выдумкой Достоевского, а его источником, вероятно, служит именно роман Лермонтова.

Сходство присутствует не только в деталях, но и касается общей установки этих героев-кавказцев. В обоих произведениях существует «мягкий», наивный тип — это Азамат и Алей. Оба очень любят свою сестру: когда Алей хвастается перед Горянчиковым, что «по всему Дагестану нет лучше» его сестры [20. С. 57], то это напоминает нам аналогичное высказывание Азамата о своей сестре Бэле: «Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха» [22. С. 194]. Тем временем присутствует в обоих произведениях и «львиный», «богатырский» тип — Казбич и Нурра, которые, как мы уже упомянули, проявляют сомнительную преданность России.

При изображении героев-кавказцев Достоевский иногда даже повторял этнографические и лингвистические ошибки Лермонтова. Так, оба они подчеркивают дагестанское происхождение своих черкесских героев, однако в Дагестане черкесы на самом деле не живут. В обоих произведениях упоминается, что эти кавказцы говорят «по-татарски», то есть на языке тюркской семьи по современной классификации языков, причем в них даже были воспроизведены несколько таких «татарских» слов, причем наборы этих слов у них похожи друг на друга. Однако родные языки всех этих горцев (черкесов, кабардинцев и чеченцев у Лермонтова, черкесов и лезгинов у Достоевского) не принадлежат к тюркской семье, то есть они не должны быть носителями «татарского» языка [6]. Правда, было бы чрезмерной вольностью сделать вывод о том, что Достоевский будто бы выучился этим «татарским» словам исключительно у Лермонтова, но сходство в выборе и структуре их передачи и в перепутывании этнографических знаний свидетельствует о том, что это больше, чем просто совпадение.

Однако эти интертекстуальные связи не отменяют глубоких разногласий между двумя авторами. В «Записках...» Алей показался рассказчику «чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим»; у него «прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо». Нурра же «добрый и наивный»: он «с негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всяким воровством, мошенничеством, пьянством и вообще всем, что было нечестно». Аналогичным образом «чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования» в глазах Алея [20. С. 55—57]. Все это намекает на их принадлежность к одному из важнейших архетипов европейской литературы — «благородному дикарю». Но такая «благородность» только в незначительной степени характерна для лермонтовских горцев, которые, несмотря на свои простодушие и наивность, не в силах подавить свои страсти. В результате под подстрекательством представителя цивилизации — Печорина они совершили обман, воровство, похищение, бегство и, в конце концов, убийство. Больше чем на «благородных дикарей», они похожи на их дряхлых потомков [7].

### **Руссоизм и его варианты в творческом преломлении Достоевского**

Тип «благородного дикаря» стал пользоваться широкой популярностью в европейской (в том числе и русской) литературе благодаря распространению руссоизма, одним из ключевых тезисов которого является противопоставление естественного и неестественного, обычно отождествляющегося с цивилизацией. Достоевский жил в эпоху, когда руссоизм в русской культуре давно перестал быть «живым общественным течением» [26. С. 598], однако убеждение о преимуществе естественного перед цивилизацией проявляется также, например, в литературе русского сентиментализма и романтизма, во французских социальных романах и утопическом социализме. Все эти источники имели грандиозное влияние на молодого Достоевского, и, наверное, понятие о руссоизме у него формировалось главным образом под влиянием этих косвенных источников, а не непосредственно самого Руссо.

Во всех этих источниках идеи руссоизма не просто отражаются, но и получают своеобразное преломление. Например, в философии утопических социалистов руссоизм преобразован в двух отношениях. Во-первых, в их учении о будущем «золотом веке» ретроспективный, ностальгический аспект руссоизма оказался вывернут наизнанку. Эпиграф к одному сочинению А. Сен-Симона гласит: «Золотой век, который слепое предание относил до сих пор к прошлому, находится впереди нас» [27. Т. 2. С. 273]. Во-вторых, именно под влиянием утопического социализма в творчестве многих писателей происходит движение от образа «естественного человека» к изображению «человека из народа», «человека из людей» [8]: если первый из них, согласно Д.Е. Максимова, был раскрыт «с моральной и эстетической, “декоративной” стороны, иногда идиллически или с подчеркиванием национальной экзотики», то второму более свойственна социально-бытовая определенность [28. С. 115]. Стоит упомянуть в этом отношении и особую роль творчества Жорж Санд, которым молодой писатель восхищался. В письме брату от 8 октября 1845 г. он пишет: «Прочти “Теверино”... Ничего подобного не было еще в нашем столетии. Вот люди, первообразы» [4. Т. 28]. С. 114]. Э.М. Жиликова справедливо отметила, что этот роман дорог ему именно тем, что мечта о «золотом веке» в нем связывается с «возрождением естественности, которая жива в отношениях простых людей» [29. С. 192]. Когда Достоевский начал свою литературную деятельность, тип «естественных людей» был уж полностью заменен типом «простых людей», и таким образом, как представители «устаревшего» литературного типа, Алей и Нурра стали уникальным явлением в творчестве писателя.

Однако, несмотря на сложность движения идей и опосредованный характер воздействия Руссо на Достоевского, писатель четко осознавал влияние учения «женевского гражданина». В своей пушкинской речи он дал Алеко ироническую характеристику: «У него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо» [4. Т. 26. С. 138]. Если здесь он отметил руссоистское начало в литературе романтизма, то в письме Н.Н. Страхову от 18 мая 1871 г. он увидел его отражение в утопическом социализме и в социальных движениях XIX века. Причем для него важны не социаль-

но-политические аспекты учения Руссо, которые кажутся более близкими к делу, а именно гипотеза Руссо об утраченном «золотом веке»: «Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или ... выказывает унижительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное. В сущности, все тот же Руссо и мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом (позитивизм)... Желание чего-нибудь не есть достижение. Они желают счастья человека и остаются при определениях слова “счастье” Руссо, то есть на фантазии, не оправданной даже опытом» [4. Т. 29. С. 214].

В русской литературе до Достоевского идеи руссоизма получили немало преломлений. В пушкинских «Кавказском пленнике» и «Цыганах» руссоистская антитеза очевидна: с одной стороны, это вольность, мужественность, простота и поэтичность жизни дикарей, а с другой — суэта цивилизации, которая заставляет ее представителей бежать от нее. Однако вопреки Руссо Пушкин в своих поэмах показывает, что у дикарей страсти тоже существуют и их герои гибнут именно из-за своих страстей. Но Пушкин зрелого периода шагнул дальше. Автору «Путешествия в Арзрум» казалось, что «Кавказский пленник» — «все это слабо, молодо, нелепо», хотя «многое угадано и выражено верно» [30. Т. 8. С. 451]. Мысли и мечты «учеников Дидро и Руссо» кажутся ему детскими и несбыточными [30. Т. 12. С. 31]. В своей рецензии на «Записки Джона Теннера» поэт называет «легкомысленность, невоздержанность, лукавство и жестокость» «главными пороками диких американцев». Несмотря на резкое обвинение цивилизации в деградации аборигенов и полное сочувствие жизни индейцев, вывод Пушкина о их судьбе весьма суров: «дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон» [30. Т. 8. С. 116, 104].

Л.И. Вольперт отметила, что в рамках учения Руссо именно коллизия «природа — цивилизация» была наиболее близка Лермонтову, однако в свете последующего исторического опыта эта антиномия казалась ему уже наивной [31. С. 57—58]. Стремление к природе и в то же время сознание невозможности полного возвращения и разрыва с цивилизацией, по мнению Т.А. Алпатовой, является истоком глубокого трагизма творчества Лермонтова [2. С. 778]. В этом признавался и сам Печорин: «Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой» [22. 210]. Максимов заключал свой анализ «Бэлы» следующим выводом: «... нет возможности преодолеть пропасть, разделяющую сознание человека, прошедшего через критический опыт, и сознание примитивное, “естественное”, связанное с ранними стадиями человеческого развития» [28. С. 221]. Кроме того, «как и большинство романтиков», Лермонтов «потерял веру в гармоничную личность и счастливую жизнь “детей природы” и почти уже не пытался изображать их идиллически, “руссоистски»» [28. С. 116]. Подобная тенденция наиболее явно отражается именно в «Герое нашего времени», где кавказские герои утратили добродетели, свойственные горцам в ранних поэмах Лермонтова. В них остались только обман, лукавство и напрасные мщенья друг другу.

Однако кроме разочарования в руссоизме, такое изменение обуславливается еще другими факторами. Во-первых, оно связано с движением жанра у Лермонтова от поэмы к прозе, так как одностороннее, идеализированное изображение

«естественных людей», свойственное романтическим поэмам, уже не годится для нового прозаического жанра. Во-вторых, в нем отражается мнение поэта о взаимосвязи между «дикостью» и «цивилизацией». Если в пушкинских поэмах страсти и цивилизация привели только к физической гибели отдельных героев, то в романе Лермонтова их содействие помимо этого принесло еще и моральное падение дикарей. С другой стороны, цивилизация тоже подверглась деградации: Печорин умел похитить Бэлу как настоящий горец или «взвизгнул не хуже любого чеченца», а убийство Казбичем старого князя не вызвало возмущения и даже удивления у Максима Максимовича: «Конечно, по-ихнему ... он был совершенно прав» [22. С. 211, 201]. В результате дикость и цивилизация были ассимилированы друг другом, причем в неблагоприятную для обеих сторон, что безусловно противоречит первоначальному представлению руссоизма о преимуществе «дикости» перед «цивилизацией».

Разумеется, эти примеры преобразования руссоизма должны были быть хорошо известны Достоевскому. Например, однажды он даже посоветовал своему казахскому приятелю Ч.Ч. Валиханову «написать нечто вроде своих “Записок” о степном быте ... (например, вроде “Джона Теннера” в переводе Пушкина)» [4. Т. 28. С. 249]. Сам писатель уже в «Бедных людях» начал пересматривать существенный для «натуральной школы» принцип руссоизма о доброй природе человека. И еще до начала работы над «Записками из Мертвого дома», в романе «Село Степанчиково и его обитатели» он скрыто пародировал представление о доброй природе человека [32. С. 113—115]. Все это свидетельствует в пользу точки зрения Э.М. Жиликовой о том, что Достоевский тоже скептически относился к руссоистскому культу естественности, направленному против цивилизации [29. С. 235]. В данном контексте изображение Алея и Нурры в «Записках...» стало весьма неожиданным, так как писатель не только воскресил устаревший тогда романтический литературный тип «естественного человека», но и подчеркнул его «благородство», давно уже утраченное в разнообразных переосмыслениях руссоизма.

Для Достоевского «воскресение благородства» отнюдь не означает приятия руссоизма, а служит поводом для полемики с Лермонтовым. Если в «Герое нашего времени» цивилизация в лице Печорина принесла горцам одни беды и несчастья, то их «потомки» в «Записках...» встречаются с цивилизацией в лице Горянчикова, который научил Алея грамоте с помощью Евангелия. Уже в «Путешествии в Арзрум» Пушкин рассчитывал на Евангелие при укрощении черкесов [30. Т. 8. С. 463], а Горянчиков как будто бы воплощал пушкинское пожелание в жизнь. Результат такого опыта в художественном изображении Достоевского оказался достаточно удовлетворительным. Братья Алея «не знали, чем возблагодарить меня», а сам Алей даже признался своему просветителю, что «ты для меня столько сделал, столько сделал, что отец мой, мать мне бы столько не сделали: ты меня человеком сделал» [20. С. 59]. Молодой мусульманин неплохо справился даже с христианской теологией: «Иса святой пророк, Иса Божии слова говорил. Как хорошо!.. Прощай, люби, не обижай, и врагов люби. Ах, как хорошо он говорит!» [20. С. 58].

В академическом издании справедливо было отмечено, что здесь Достоевский приписывает Алею свое собственное знакомство с Евангелием [20. С. 415]. Од-



нако слова Алея объясняются далеко не одним собственным религиозным сознанием писателя. Целостно понять их значение нельзя без учета предыдущих текстов о «естественных людях». Как указал Д.Е. Максимов, в основе романтических поэм с руссоистским оттенком всегда лежит любовный сюжет. Любовь стала узлом, соединяющим человека природы с человеком цивилизации. Тем не менее такой любовный союз оказывается непрочным, и его разрыв всегда приносит трагедию [28. С. 119]. Лермонтову, например, не удалось избавиться от этой повествовательной парадигмы даже в «Бэле», которая так отличается от его предыдущих «кавказских» поэм в жанровом, стилевом и мировоззренческом аспектах. Таким образом, высказывание Алея в «Записках...» стало своего рода продолжением этой традиции и любовь опять стала узлом между естественным человеком и человеком из цивилизации. Но, как мы видим, здесь лежит уже не та страстная, непрочная и по сути трагическая любовь (гр. *erōs*) лермонтовских текстов, а жертвенная, кроткая любовь (гр. *agapē*), которую проповедует Евангелие.

Стало быть, научение черкеса грамоте с помощью «русского перевода Нового Завета» уже не только обусловлено жизнью в остроге, но и имеет глубокое символическое значение, что предвосхищает провозглашение Достоевским в последнем прижизненном номере «Дневника писателя» «миссии нашей цивилизаторской в Азии» [4. Т. 27. С. 37]. Ведь «миссия» здесь одновременно есть и «мисионерство», и именно здесь лежит суть полемики Достоевского с Лермонтовым. Если исход Азамата воспринят Лермонтовым как фатальный конец дикости перед цивилизацией, то для Достоевского в нем отражается скорее дурное исполнение цивилизаторской миссии Печориным. Но Горянчиков правильно понял суть этой миссии, и, следовательно, с Алеем такая трагедия не может произойти, поскольку он уже «человеком сделан». И с помощью обновленной, христианской любви мир естественного человека теперь очень прочно соединен с миром цивилизации, чего Печорин с его романтической любовью не был в состоянии осуществить.

### **Кавказский мотив и идея всеобщего просвещения в публицистике Достоевского 1860-х гг.**

Полемику Достоевского с Лермонтовым можно рассмотреть не только с точки зрения их отношений к руссоизму, но и в более широком аспекте. Речь идет об особенностях «Записок...» как «книги о народе» [33. С. 128] и об их связи с журнальной полемикой 1860-х годов, в которой постепенно формировалась «почвенническая» позиция писателя.

Как известно, хотя Достоевский планировал записывать свои впечатления еще в остроге, серьезная работа над «Записками из Мертвого дома» началась только в 1860 г. [20. С. 328—331]. Время их создания и публикации совпадает с тем периодом, когда в журналах и газетах развернулась полемика по ряду тем. Сам писатель тогда тоже занимался публицистической деятельностью и принимал активное участие в этой полемике, а народное просвещение и всеобщая грамотность стали двумя из самых существенных принципов, которые он неистово отстаивал. Статьи Достоевского свидетельствуют о его убежденности в неотложности разрешения проблемы всеобщей грамотности: «Распространение образования усиленное,

скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности» [4. Т. 18. С. 37]. «Прежде чем хлопотать о немедленном образовании и обучении народа, нужно просто-запросто похлопотать сначала о быстрейшем распространении в нем грамотности и охоты к чтению» [4. Т. 19. С. 44]. «Нужно ... распространить в народе грамотность... Прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии» [4. Т. 20. С. 20].

Помимо этого, в первой и второй статьях «Книжность и грамотность» Достоевский исследует конкретные методологические проблемы обучения, и все это безусловно демонстрирует серьезность его отношения к народному образованию. Дело народного просвещения дорого писателю тем, что распространение грамотности и образования среди людей из народа, по его мнению, является первым шагом к сближению образованного слоя с народом, и, следовательно, к их согласию. Одна из основных идей «Записок...» касается именно той «глубочайшей бездны», отделившей «благородных» от «простонародья» [20. С. 220], а «человек из природы» подобно Алею является составной частью категории «человек из народа», как мы уже отметили. Таким образом, эпизод об обучении грамоте Алея включает в себя ответ, хотя бы тихий, на громкий вопрос, который Достоевский неоднократно задает в этой книге.

В.А. Туниманов при разборе переключки между «Записками...» и полемическими дискуссиями 1860-х гг. напоминает нам о риске поставить их в один ряд, так как «композиция произведения в основных чертах сложилась до этих дискуссий, коренным образом не повлиявших на логику развития художественной мысли Достоевского» [33. С. 128]. Однако в некоторых случаях он сначала реагирует в «Записках...» на эти дискуссии в весьма сгущенной форме, а потом в публицистике развертывает мысль более полно. Например, уже в первой главе «Записок...», которая была опубликована 1 сентября 1860 г. (даже раньше создания журнала «Время»), писатель упомянул о высокой грамотности тюремного народа, и очень коротко изложил свои взгляды на данное явление: «Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток» [20. С. 13]. Туманное, сухое объяснение, смешанное с рядом отрывков описания каторжного быта, было бы очень трудно понять, если бы писатель потом в «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» не дал многостраничного психологического анализа того же самого явления, чтобы отстоять свой просветительский принцип перед оппонентами [4. Т. 18. С. 62—66].

Наверное, такова была его стратегия участия в полемике в те годы — не сразу все сказать, а поэтапно. Именно таким образом Достоевский вначале в «Записках...» только высказал свои наблюдения об остроге и поставил вопросы об отчуждении народа и аристократии, а потом в публицистике изложил все свои почвеннические идеи. И именно таким образом он сначала лишь включил в «Записки...» небольшой эпизод об обучении грамоте, намекая на возможность преодоления той «глубочайшей бездны», а потом в журнальных статьях аргументировал необходимость всеобщего просвещения.

Любопытно сопоставить с «Записками...» еще один фрагмент о просвещении из «Ряда статей о русской литературе». Речь идет об одном абзаце во «Введении» к «Ряду статей...»: «Народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, оценит в нас не наемников, а пастырей и будет уважать нас. Мы должны, наконец, заслужить от него уважения. И какие великие силы возродятся тогда!.. Куда денутся тогда наши “талантливые натуры”, не находившие себе места, наши обленившиеся Байроны!.. Вы жили и протестовали; вы заявляли ваши желания... Мы смотрели на ваши скорбные фигуры и спрашивали: “О чем они скорбят, чего хотят, чего ищут?..” Но теперь полно и вам горемычничать; сделайте и вы хоть что-нибудь. Вы все говорите, что у вас нет деятельности. Попробуйте, не найдете ли хоть теперь? *Научите хоть одного мальчика грамоте*; вот вам и деятельность. Но нет! вы с негодованием отворачиваетесь... “Какая же это для нас деятельность! — говорите вы, злобно улыбаясь, — мы таим в груди нашей исполинские силы. Мы хотим и можем сдвигать с места горы; из наших сердец бьет чистейший ключ любви ко всему человечеству. Мы хотели бы разом обняться со всем человечеством. Мы хотим работы соразмерно с силами нашими; вот какой хотим мы деятельности и гибнем в бездействии. Нельзя же шагать вместо семи миль по вершкуну! *Великану ль учить мальчика грамоте?*”» [4. Т. 18. С. 67—68] (курсив наш — М.С.).

Предложение «Научите хоть одного мальчика грамоте» сразу напоминает нам о заслуге Достоевского-Горячкова в остроге. Если мы вспомним полемику писателя с Лермонтовым в «Записках...», то увидим, что еще там скрытая полемическая направленность против Лермонтова и его Печорина здесь, в публицистике, стала открытой, особенно с учетом того, что в предыдущем контексте «Введения» Достоевский уже рисовал довольно иронический портрет Лермонтова как одну из двух (вместе с Гоголем) демонических фигур в истории русской литературы.

Одновременное упоминание этих двух имен было неслучайным. Как Лермонтов, Гоголь тоже является одним из важных предметов полемики Достоевского, причем в «Записках...» «гоголевских» мест гораздо больше «лермонтовских». Многие исследователи уже рассмотрели «гоголевский» подтекст в этом произведении. Например, И.П. Смирнов считает, что полемичность в «Записках...» состоит в том, что Достоевский отказывается от двуплановости изложения Гоголя, игнорирует его фантастическое «инобытие» и принимает только реалистический мир [23. С. 73—77]. И.З. Серман подчеркивает, что Достоевский в «Записках...» стремится к преодолению гоголевской традиции приближения к простонародью («сострадание, осмеяние и поучение») и к разгадке внутреннего мира русского народа. В результате писателю удалось превратить «куклы и уродов» из «Мертвых душ» в живых людей с живыми душами, хотя бы в Мертвом доме [35. С. 131—141].

### 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если полемика с Гоголем в большей степени концентрируется на вопросе о художественной манере, то полемика с Лермонтовым, несмотря на ее беглый и скрытый характер, сразу вышла на уровень идейной борьбы. Можно сказать, что эпизод обучения Алея грамоте в «Записках из Мертвого дома» имеет два измере-

ния: во-первых, в нем воплощается преломление писателем руссоистской анти-тезы «природы» и «цивилизации» и замещение страстной романтической любви любовью христианской; во-вторых, он стал символом начала сближения аристократии с народом, и, следовательно, первым шагом к осуществлению почвеннической идеи писателя. И как мы видим, в обоих случаях замысел Достоевского был осуществлен именно посредством полемики с Лермонтовым. И в конце концов, в публицистике он еще стал аргументом, свидетельствующим о превосходстве почвеннической деятельности над байроническим бездельем.

© Ми Суюян, 2017

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гроссман Л.* Библиотека Достоевского. Одесса: Изд. А.А. Ивасенко, 1919. 168 с.
2. М.Ю. Лермонтов: Энциклопедический словарь. М.: Индрик, 2014. 936 с.
3. *Шкловский В.Б.* Избранное: В 2 т. М.: Худ. лит., 1982.
4. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972—1990.
5. *Опочинин Е.* Беседы о Достоевском // Звенья. М.; Л.: Academia, 1936. Т. 6. С. 454—494.
6. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худ. лит., 1990.
7. *Кирпотин В.Я.* Ф.М. Достоевский. Творческий путь (1821—1859). М.: Худ. лит., 1960. 607 с.
8. *Скафтымов А.П.* Лермонтов и Достоевский // Вестник образования и воспитания. Казань, 1916. № 1—2. С. 3—29.
9. *Туниманов В.А.* Достоевский // Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1981. С. 143—144.
10. *Журавлева А.И.* Лермонтов и Достоевский // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1964. Т. 23, вып. 5. С. 382—392.
11. *Левин В.И.* Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1972. Т. 31, вып. 2. С. 142—156.
12. *Гиголов М.Г.* Лермонтовские мотивы в творчестве Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1985. Вып. 6. С. 64—73.
13. *Фридендер Г.М.* Лермонтов и русская повествовательная проза // Русская литература. 1965. № 1. С. 33—49.
14. *Чистова И.С.* Прозаический отрывок М.Ю. Лермонтова «Штосс» и «натуральная» повесть 1840-х годов // Русская литература. 1978. № 1. С. 116—122.
15. *Белов С.В.* Достоевский и Лермонтов // Русская литература XIX века: Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1975. Вып. 2. С. 128—133.
16. *Беляева И.А.* Ранняя проза Ф.М. Достоевского и лермонтовская традиция 1840-х годов // Художественные искания русских и зарубежных писателей: Вопросы поэтики. М.: МГПУ, 2002. С. 30—61.
17. *Шкловский В.Б.* За и против. Заметки о Достоевском. М.: Сов. писатель, 1957. 259 с.
18. *Виноградов Б.С., Туниманов В.А.* Кавказские мотивы в «Записках из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского // Изв. Чечено-ингушского НИИ ист., яз. и лит.-ы. 1972. Т. 6, вып. 3. С. 130—148.
19. *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд. АН СССР, 1953—1959.
20. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 35 т. СПб.: Наука, 2013—... Т. 4. 524 с.
21. *Белов С.В.* Ф.М. Достоевский и его окружение: Энциклопедический словарь: В 2 т. СПб.: Алетейя, 2001.
22. *Лермонтов М.Ю.* Собр. соч.: В 4 т. Л.: Наука, 1979—1981. Т. 4. 591 с.
23. *Смирнов И.П.* Текстомахия: как литература отзывается на философию. СПб.: Петрополис, 2010. 207 с.
24. *Ми Суюян.* Два «восточных» мотива в «Записках из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского // Вестник СПбГУТД. Сер. 2. Иск-ведение, филол. науки. 2016. № 2. С. 102—109.
25. *Лотман Ю.М.* Избр. ст.: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992—1993.

26. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. 703 с.
27. Сен-Симон А. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1948.
28. Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. 266 с.
29. Жилькова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского. Томск: Изд. ТГУ, 1989. 272 с.
30. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: Наука, 1937—1959.
31. Вольперт Л.И. Лермонтов и французская литература. Тарту: Интернет-публикация, 2010. 276 с.
32. Кибальник С.А. Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского. СПб.: Петрополис, 2013. 431 с.
33. Туниманов В.А. Творчество Достоевского. 1854—1862. Л.: Наука, 1980. 294 с.
34. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: Наука, 1937—1952.
35. Серман И. Тема народности в «Записках из Мертвого дома» // *Dostoevsky Studies*. 1982. Vol. 3. P. 102—144.

#### **Финансирование:**

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований РАН «Историческая память и российская идентичность».

#### **История статьи:**

Поступила в редакцию: 20.06.2017

Принята к публикации: 21.09.2017

Модератор: О.А. Валикова

**Конфликт интересов:** отсутствует

#### **Для цитирования:**

Ми Сюйян. Кавказский мотив в «Записках из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского: сквозь призму поэтики с М.Ю. Лермонтовым // *Вестник Российского университета дружбы народов*. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 2017. Т. 14. № 4. С. 728—742. DOI 10.22363/2312-8011-2017-14-4-728-742

#### **Сведения об авторе:**

Ми Сюйян — аспирант отдела новой русской литературы Института русской литературы Российской Академии наук. E-mail: mixuyang@hotmail.com

## **THE CAUCASIAN MOTIF IN FYODOR DOSTOYEVSKY'S "HOUSE OF THE DEAD": IN THE LIGHT OF THE POLEMIC WITH LERMONTOV**

Mi Xuyang

Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences  
4 Makarov embankment, Saint-Petersburg, 199034, Russian Federation

This article is devoted to the Caucasian motif in Fyodor Dostoyevsky's "House of the Dead". This analysis notes its intertextual connection with Lermontov's novel "A Hero of Our Time" and clarifies the multifaceted tasks of the hidden polemic with him: overcoming Rousseauian antithesis of "nature — civilization" and the cult of romantic passionate love. This article also discusses the further echo of

this motif in Dostoevsky's essays of the 1860s, shows its emblematic value for the writer. This motif has become a distinctive sign of the first step towards the convergence of the aristocracy and the common people, and therefore, towards the implementation of Dostoevsky's ideas of Pochvennichestvo.

**Key words:** Dostoevsky, Caucasus, Lermontov, romanticism, Rousseau, Pochvennichestvo

## REFERENCES

1. Grossman L. *Biblioteka Dostoevskogo* [Dostoevsky's Library]. Odessa: Izd. A.A. Ivashenko, 1919. 168 s.
2. M. Yu. *Lermontov: Entsiklopedicheskii slovar'* [Encyclopedic Dictionary]. M.: Indrik, 2014. 936 s.
3. Shklovskii V.B. *Izbrannoe*: V 2 t. [Selected Works: In 2 vol.]. M.: Khud. lit., 1982.
4. Dostoevskii F.M. *Poln. sobr. soch.*: V 30 t. [Complete Works: In 30 vol.]. L.: Nauka, 1972—1990.
5. Opochinin E. *Besedy o Dostoevskom* [Talks about Dostoevsky]. Zven'ya. M.; L.: Academia, 1936. Vyp. 6. S. 454—494.
6. F.M. *Dostoevskii v vospominaniyakh sovremennikov* [Dostoevsky in the Memory of the Contemporaries: In 2 vol.]: V 2 t. M.: Khud. lit., 1990.
7. Kirpotin V.Ya. *F.M. Dostoevskii. Tvorcheskii put' (1821—1859)* [F.M. Dostoevsky. Creative Career (1821—1859)]. M.: Khud. lit., 1960. 607 s.
8. Skaftymov A.P. *Lermontov i Dostoevskii* [Lermontov and Dostoevsky]. Vestnik obrazovaniya i vospitaniya. Kazan', 1916. № 1—2. S. 3—29
9. Tunimanov V.A. *Dostoevskii. Lermontovskaya entsiklopediya* [Lermontovian Encyclopedia]. M.: Sov. entsikl., 1981. S. 143—144.
10. Zhuravleva A.I. *Lermontov i Dostoevskii* [Lermontov and Dostoevsky] *Izv. AN SSSR. Ser. lit. i yaz.* 1964. T. 23, vyp. 5. S. 382—392.
11. Levin V.I. *Dostoevskii, «podpol'nyi paradoksalist» i Lermontov* [Levin V.I. Dostoevsky, “Underground Paradoxalist” and Lermontov]. *Izv. AN SSSR. Ser. lit. i yaz.* 1972. T. 31, vyp. 2. S. 142—156.
12. Gigolov M.G. *Lermontovskie motivy v tvorchestve Dostoevskogo* [Lermontovian motifs in the Works of Dostoevsky]. *Dostoevskii: Materialy i issledovaniya*. L.: Nauka, 1985. Vyp. 6. S. 64—73.
13. Fridlander G.M. *Lermontov i russkaya povestvovatel'naya proza* [Lermontov and Russian Narrative Prose]. *Russkaya literatura*. 1965. № 1. S. 33—49.
14. Chistova I.S. *Prozaicheskii otryvok M. Yu. Lermontova «Shtoss» i «natural'naya» povest' 1840-kh godov* [M. Yu. Lermontov's Prose Fragment “Stoss” and the “Natural” Novelettes of the 1840s]. *Russkaya literatura*. 1978. № 1. S. 116—122.
15. Belov S.V. *Dostoevskii i Lermontov* [Dostoevsky and Lermontov]. *Russkaya literatura XIX veka: Voprosy syuzheta i kompozitsii. Gor'kii*, 1975. Vyp. 2. S. 128—133.
16. Belyaeva I.A. *Rannaya proza F.M. Dostoevskogo i lermontovskaya traditsiya 1840-kh godov* [Early prose of F.M. Dostoevsky and Lermontovian Tradition of the 1840s]. *Khudozhestvennye iskaniya russkikh i zarubezhnykh pisatelei: Voprosy poetiki*. M.: MGPU, 2002. S. 30—61.
17. Shklovskii V.B. *Za i protiv. Zametki o Dostoevskom* [Pro et Contra. Notes about Dostoevsky]. M.: Sov. Pisatel', 1957. 259 s.
18. Vinogradov B.S., Tunimanov V.A. *Kavkazskie motivy v «Zapiskakh iz Mertvogo doma» F.M. Dostoevskogo* [Caucasian Motifs in “House of the Dead” of F.M. Dostoevsky]. *Izv. Checheno-ingushskogo NII ist., yaz. i lit.-y.* 1972. T. 6, vyp. 3. S. 130—148.
19. Belinskii V.G. *Poln. sobr. soch.*: V 13 t. [Complete Works: In 13 vol.]. M.: Izd. AN SSSR, 1953—1959.
20. Dostoevskii F.M. *Poln. sobr. soch.*: V 35 t. [Complete Works: In 35 vol.]. SPb.: Nauka, 2013. T. 4. 524 s.
21. Belov S.V. *F.M. Dostoevskii i ego okruzhenie: Entsiklopedicheskii slovar'*: V 2 t. [Dostoevsky and His Milieu: Encyclopedic Dictionary: In 2 vol.]. SPb.: Aleteiya, 2001.
22. Lermontov M. Yu. *Sobr. soch.*: V 4 t. [Selected Works]. L.: Nauka, 1979—1981. T. 4. 591 s.
23. Smirnov I.P. *Tekstomakhia: kak literatura otzhyvaetsya na filosofiyu* [Textomachia: How Literature Echoes with Philosophy]. SPb.: Petropolis, 2010. 207 s.

24. Mi Syuiyan. *Dva «vostochnykh» motiva v «Zapiskakh iz Mertvogo doma» F.M. Dostoevskogo* [Two “Eastern” Motifs in “House of the Dead” of F.M. Dostoevsky]. *Vestnik SPbGUTD. Ser. 2. Isk-vedenie, filol. nauki*. 2016. № 2. S. 102—109.
25. Lotman Yu.M. *Izbr. St.: V 3 t.* [Selected Works]. Tallinn: Aleksandra, 1992—1993.
26. Russo Zh.-Zh. *Traktaty* [Treatises]. M.: Nauka, 1969. 703 s.
27. Sen-Simon A. *Izbr. soch.: V 2 t.* [Selected Works: In 2 vol.]. M.; L.: Izd. AN SSSR, 1948.
28. Maksimov D.E. *Poeziya Lermontova* [Poetics of Lermontov]. M.; L.: Nauka, 1964. 266 s.
29. Zhilyakova E.M. *Traditsii sentimentalizma v tvorchestve rannego Dostoevskogo* [Traditions of Sentimentalism in Early Works of Dostoevsky]. Tomsk: Izd. TGU, 1989. 272 s.
30. Pushkin A.S. *Poln. sobr. soch.: V 16 t.* [Complete Works: In 16 vol.]. M.; L.: Nauka, 1937—1959.
31. Vol’pert L.I. *Lermontov i frantsuzskaya literatura* [Lermontov and French Literature]. Tartu: Internet-publikatsiya, 2010. 276 s.
32. Kibal’nik S.A. *Problemy intertekstual’noi poetiki Dostoevskogo* [Problem of Dostoevsky’s Intertextual Poetics]. SPb.: Petropolis, 2013. 431 s.
33. Tunimanov V.A. *Tvorchestvo Dostoevskogo. 1854—1862* [Works of Dostoevsky. 1854—1862]. L.: Nauka, 1980. 294 s.
34. Gogol’ N.V. *Poln. sobr. soch.: V 14 t.* [Complete Works: In 14 vol.]. M.; L.: Nauka, 1937—1952.
35. Serman I. *Tema narodnosti v «Zapiskakh iz Mertvogo doma»* [The Folk Origins Issue in “House of the Dead”]. *Dostoevsky Studies*. 1982. Vol. 3. S. 102—144.

#### **Funding:**

The work was carried out within the fundamental research program of the Russian Academy of Sciences “Historical Memory and Russian Identity”.

#### **Article history:**

Received: 20.06.2017

Accepted: 21.09.2017

Moderator: O.A. Valikova

**Conflict of interests:** none

#### **For citation:**

**Mi Xuyang. (2017). The Caucasian Motif in Fyodor Dostoyevsky’s “House of The Dead”: in the Light of the Polemic with Lermontov. *RUDN Journal of Language Education and Translingual Practices*, 14 (4), 728—742. DOI 10.22363/2312-8011-2017-14-4-728-742**

#### **Bio Note:**

*Mi Xuyang* is a Graduate student at the Department of the New Russian Literature of the Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences. Email: mixuyang@hotmail.com